

ТОВЕ ДИТЛЕВСЕН  
Детство

No Kidding Press



TOVE

**Тове Дитлевсен**  
**Детство**  
Серия «Копенгагенская  
трилогия», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63011031](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63011031)*  
*Тове Дитлевсен. Детство: No Kidding Press; Москва; 2020*  
*ISBN 9785604474938*

**Аннотация**

Тове знает, что она неудачница и ее детство сделали совсем для другой девочки, которой оно пришлось бы в самый раз. Она очарована своей рыжеволосой подругой Рут, живущей по соседству и знающей все секреты мира взрослых. Но Тове никогда по-настоящему не рассказывает о себе ни ей, ни кому-либо еще, потому что другие не выносят «песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе». Она знает, что у нее есть призвание и что однажды ей неизбежно придется покинуть узкую улицу своего детства. «Детство» – первая часть «копенгагенской трилогии», читающаяся как самостоятельный роман воспитания. Это книга о взрослении, семье, дружбе, амбициях и предназначении, полная эмоциональных прозрений и иронии.

# Содержание

1	6
2	11
3	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Тове Дитлевсен

## Детство



Danish Arts  
Foundation

Перевод: Анна Рахманько

Редактор: Ольга Дергачева

Корректура и верстка: Юлия Кожемякина

Дизайн обложки: Юлия Попова

Технический редактор: Лайма Андерсон

Главный редактор: Александра Шадрина

Издание осуществлено при поддержке Danish Arts  
Foundation

*Все права защищены.*

*Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

© Анна Рахманько, перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2020



# 1

Утром еще тлела надежда. Она мимолетным проблеском пряталась в темных прямых волосах моей мамы, к которым я никогда не смела прикоснуться; она лежала у меня на языке вместе со сладковатым теплом овсяной каши; я ела не спеша, рассматривая тонкие мамины руки, неподвижно покоившиеся на газете, прямо на новостях об испанском гриппе и о Версальском мирном договоре. Отец к тому времени уходил на работу, брат – в школу. Мама оставалась одна, хотя я и сидела рядом; и если мне удавалось затаиться, не выдавая себя ни звуком, то потаенная тишина ее непроницаемого сердца длилась – пока утро не старилось и не наставляла пора идти за покупками на улицу Истедгаде, как и было заведено у обычных жен.

Солнце всходило над зеленой цыганской кибиткой – словно вырывалось прямо из нее, и появлялся Чесотка-Ханс: голый по пояс, в руках таз. Окатившись водой, он тянулся за полотенцем, которое Лили-Красотка немедленно ему подавала. Они обходились без слов – точь-в-точь картинки в книжке, когда листаешь ее быстро-быстро. Как и моя мама, через несколько часов они менялись. Чесотка-Ханс состоял в Армии спасения, Лили-Красотка была его возлюбленной. Летом они набивали свою зеленую кибитку маленькими детьми и вывозили их на природу, за что родители пла-

тили по кроне в день. Я тоже ездила с ними, когда мне было три года, а моему брату семь. В свои пять лет из всей поездки я помнила только, как Лили-Красотка однажды высадила меня из кибитки на теплый песок, показавшийся мне настоящей пустыней. Зеленая повозка тронулась и покатила, становясь всё меньше и меньше, внутри сидел брат, и я думала, что больше никогда не увижу ни его, ни маму. Домой все дети вернулись с чесоткой. Именно так Ханс и заработал свое прозвище. Лили-Красотка не была красивой. А вот моя мама – да, особенно в эти странные и радостные утренние часы, когда я оставляла ее в покое и в полной тишине. Прекрасная, недостижимая, одинокая, погруженная в глубокие тайные переживания, которых я бы ни за что не угадала. Позади нее на обоях в цветочек – расплзшиеся куски отец подлатал коричневой клейкой лентой – висела картинка с пристально смотрящей в окно женщиной, рядом с которой на полу стояла люлька с младенцем. Подпись внизу поясняла: «Жена ждет возвращения мужа с моря»<sup>1</sup>. Порой мама замечала, куда я смотрю, и вслед за мной скользила взглядом по картине, которая казалась мне такой нежной и грустной. Но потом раздражалась внезапным смехом, и он звучал так, словно несметное число бумажных мешков взрывалось от распиравшего их воздуха. Мое сердце билось быстрее от

---

<sup>1</sup> По-видимому, это репродукция картины датского художника Антона Лоридса Йоханнеса Дорфа (1831–1914) «Жена рыбака ждет возвращения мужа с моря», написанной в 1905 году. – *Примеч. ред.*

тоски и сожаления, что кто-то нарушил тишину вселенной, но я тоже смеялась, потому меня, как и маму, охватывало мрачное веселье. Внезапно она отталкивала стул, поднималась и вставала перед картиной, в помятой ночной рубашке, уперев руки в бока. Чистым и озорным девчачьим голосом – не своим, как и тот, которым она торговалась с продавцами на рынке, – мама пела:

Не клялась ли я моей Тулле  
Спеть ей всё, что захочу?  
Висселюлле, висселюлле.  
От окон уйди, друг мой,  
Возвращайся в раз иной.  
Стужа с холодом пригнали  
Бродягу старого домой.

Песня мне совсем не нравилась, но приходилось смеяться, ведь мама пела специально, чтобы меня развеселить. Да я и сама была виновата: не разглядывала бы женщину на стене – осталась бы незамеченной. Мама с ее строгими прекрасными глазами сидела бы, аккуратно сложив руки и уставившись в разделяющую нас пустоту. И мое сердце могло бы еще долго шептать «мама», зная, что она каким-то загадочным способом его услышит. Я бы позволила ей побыть одной снова и снова, чтобы она беззвучно произносила мое имя и знала, что мы неразрывно связаны. Тогда что-то очень похожее на любовь наполнило бы весь мир, и передалось бы Чесот-



ке-Хансу и Лили-Красотке, и они так и остались бы цветными картинками в книге. Но стоило песне закончиться, как они принимались ссориться, кричать и таскать друг друга за волосы. Сердитые голоса разом врывались из подъезда в нашу гостиную, и я клялась себе: завтра сделаю вид, будто этой печальной картины на стене больше нет.

Теперь, когда надежда была разрушена, мама начинала одеваться резкими и раздраженными движениями, словно каждый предмет гардероба ее оскорблял. Нужно было одеваться и мне – окружающий мир становился холодным, опасным и мерзким: темная ярость, в которую всегда впадала моя мама, выливалась в то, что я получала пощечины или отлетала к печке. Она казалась мне такой чужой и странной, что я верила, будто меня еще в младенчестве подменили и она мне вовсе не мама. Одевшись, она подходила к зеркалу в спальне, плевала на какую-то розовую папиросную бумажку и грубо и сильно растирала ею щеки. Я уносила чашки в кухню, и длинные, таинственные слова начинали окутывать мой разум, словно укрывая его защитной пеленой. Песня, стихотворение, что-то успокаивающее и ритмичное и бесконечно меланхоличное, но никогда не печальное и не тревожное, ведь я знала, что мой день и без того будет и печальным, и тревожным. Когда эти светлые волны слов захлестывали меня, я понимала, что мама больше ничего не сможет мне сделать, ведь теперь она переставала для меня что-либо значить. И она это знала: взгляд ее наполнялся враждебностью.

Пока моя душа плыла, мама никогда меня не била, но и не заговаривала со мной. С этого момента и до следующего утра оставались только наши тела – рядом, бок о бок. Но даже в этой тесноте они избегали малейшего, даже самого легкого касания. На стене жена моряка по-прежнему ждала мужа, но в нашем мире ни мне, ни маме мужчины не были нужны. Наше хрупкое счастье, странное и бесконечное, расцветало, только если мы оставались наедине, и когда я выросла, оно уже не возвращалось – разве что иногда случались редкие промельки, которые после маминой смерти стали мне еще дороже, ведь не осталось никого, кто бы мог рассказать ее настоящую историю – какой она была на самом деле.

На самом дне моего детства стоит отец и смеется. Он теплый и стар, как печь, но я абсолютно ничего в нем не боюсь. Я знаю о нем всё, что мне разрешено знать, а если захочу узнать что-нибудь еще, нужно лишь спросить. Сам он ничего о себе мне не рассказывает, потому что совсем не представляет, о чем говорить с маленькими девочками. Иногда он треплет меня по голове и говорит: хе-хе. В ответ мама поджимает губы, и он торопливо убирает руку. У отца есть определенные привилегии, потому что он мужчина и обеспечивает нас всех. Мама с этим мирится, но не без возражений. Ты мог бы сидеть так же, как и все остальные, говорит она, когда он лежит на диване. Когда он читает книгу, она добавляет: от чтения становятся странными, в книгах сплошная ложь. По воскресеньям отец выпивает бутылку пива, и тогда мама говорит: оно стоит двадцать шесть эре. Если будешь так продолжать, мы окажемся в Суннхольме<sup>2</sup>. Хотя я и знаю, что в Суннхольме спят на соломе и едят соленую селедку три раза в день, слово попадает в стихотворения, которые я сочиняю в моменты страха и одиночества, потому что оно прекрасно, как картинка в одной из отцовских книг, что так

---

<sup>2</sup> Учреждение для малоимущих, где применялся принудительный труд. Действовало в Копенгагене с 1908 года. Фактически – рабочий дом. Сейчас на этом месте находится центр занятости для уязвимых групп населения. – *Примеч. ред.*

мне нравится. Она называется «Семья рабочего на природе» и изображает родителей с двумя детьми. Они сидят на траве и вместе смеются и едят из лежащей посередине корзины. Взгляды всех четверых обращены к флагу, воткнутому в траву рядом с головой их отца. Флаг сплошь красный. Я всегда смотрю на эту картинку вверх ногами – мне это удается, лишь когда отец читает книгу. Затем мама включает свет и задергивает окно желтыми занавесками, даже если еще не стемнело. Мой отец был подлецом и пьяницей, произносит она, но хотя бы не социалистом. Отец продолжает читать – он глуховат, и это всем хорошо известно. Мой брат Эдвин сидит и забивает гвозди в доску, а затем вытягивает их клещами. Однажды он станет ремесленником, мастером. И это хорошо, даже очень. Столы в домах у мастеров вместо газет покрыты настоящими скатертями, и едят они с ножом и вилкой. Им никогда не остаться без работы, и они не социалисты. Эдвин красив, а я уродлива. Эдвин умен, а я глупа. Это такие же прописные истины, как печатные белые буквы на торце булочной в конце улицы. Там написано «Политикен – лучшая газета». Однажды я спросила отца, почему он читает «Социалдемократен», но тот нахмурился, прокашлялся, а мама и Эдвин зашлись своим обычным бумажным смехом от того, что я так ужасно глупа.

Гостиная – островок света и тепла в те тысячи вечеров, когда мы собираемся вчетвером, словно бумажные куклы со стены позади колонн в кукольном театре – его отец смасте-

рил по модели из «Фамилии Журнален». Вечная зима, в мире тот же холод, что и в нашей спальне и кухне. Гостиная плывет сквозь время и пространство, и огонь трещит в печи. Хотя Эдвин грохочет молотком, шелест перевернутой отцом страницы в запрещенной книге, кажется, заглушает шум. Отец пролистывает уже много страниц, когда Эдвин, отложив молоток, поднимает на маму свои большие карие глаза. Может, мама споет? – предлагает он. Да, отвечает она, улыбаясь ему, и в тот же момент отец кладет книгу на живот и смотрит на меня, словно желая о чем-то со мной поговорить. Но слова, которые я и мой отец хотим сказать друг другу, никогда не будут произнесены. Эдвин вскакивает и протягивает маме ее единственную книгу, которую она бережно хранит. Сборник военных песен. Пока мама листает, брат склоняется над ней; даже не касаясь друг друга, они всё равно так близки, что мы с отцом из этой близости исключены. Как только мама начинает петь, отец сразу засыпает, сложив руки на запрещенной книге. Она поет громко и пронзительно, словно отделяя себя от слов песни:

О, мама, ты ли это, мама?

Ты много слез, я вижу, пролила.

Ты долгий путь прошла. Наверно, ты устала.

Не плачь, теперь я счастлив, мама.

Спасибо, что ты здесь, всем ужасам наперекор.

Во всех маминых песнях множество куплетов, и не успе-

вает она закончить и первую, как Эдвин снова берется за молоток, а отец храпит еще громче. Брат попросил спеть, чтобы смягчить мамин гнев из-за отцовского чтения. Эдвин – мальчик, а мальчикам не интересны песни, вызывающие слезы. Моей маме совсем не нравится, когда я плачу, поэтому с комом в горле я склоняюсь над изображением поля боя, где умирающий солдат протягивает руку к светящемуся образу своей матери, которой на самом деле, я уверена, там нет. Все песни в сборнике одинакового содержания, и пока мама их поет, я могу делать всё, что мне взбредет в голову, потому что она полностью погружена в свой собственный мир и ничто извне не может ее отвлечь. Она даже не слышит, как внизу начинают драться и ссориться. Там живет Рапунцель с длинной золотой косой вместе со своими родителями, которые пока что не продали ее ведьме за букет колокольчиков. Мой брат – принц, и он не подозревает, что ослепнет после падения с башни. Он, гордость семьи, заколачивает гвозди в доску. Это занятие для мальчиков, а девочкам нужно просто выйти замуж и родить детей. Они должны быть обеспечены, и больше им нечего ждать и не на что рассчитывать. Родители Рапунцель работают на заводе «Карлсберг» и каждый день выпивают за смену по пятьдесят бутылок пива. Вернувшись вечером домой, они продолжают пить и незадолго до того, как я укладываюсь спать, принимаются орать и колотить Рапунцель толстой палкой. В школу она всегда приходит с синяками на лице или ногах. Устав бить дочь, они бро-

саются друг на друга с бутылками и сломанными ножками от стульев; нередко приходит полиция и забирает одного из них, и лишь тогда в доме наконец-то наступает тишина. Мои мама и отец терпеть не могут полицию. Они считают, что родители Рапунцель вправе преспокойно забить друг друга до смерти, если им так этого хочется. Отец утверждает, что полиция выполняет поручения влиятельных людей, а мама часто вспоминает, как жандармы забрали и отправили в тюрьму ее отца. Она никогда этого не забудет. Мой отец не пьет и в тюрьме никогда не сидел. Мои родители не дерутся, и у меня всё намного лучше, чем в их детстве. Но всё равно темная полоска страха окаймляет все мои мысли, когда внизу утихают и мне пора ложиться спать. Спокойной ночи, говорит мне мама, закрывает дверь и возвращается в теплую гостиную. Я снимаю платье, шерстяной подъюбник, лиф и длинные черные чулки, которые каждый год получаю в подарок на Рождество, через голову натягиваю ночную рубашку и на мгновение задерживаюсь у окна, смотрю вниз, в глубину черного двора и на стену парадного<sup>3</sup> здания, которая постоянно плачет, словно только что прошел дождь. В окнах почти никогда не бывает огней, потому что за ними спальни, а все нормальные люди спят без света. Мне виден маленький квадрат неба между стен, на котором иногда сияет оди-

---

<sup>3</sup> Тип застройки старой части Копенгагена: выходящее фасадом на улицу здание считалось «парадным», а во дворе возводились дома, которым присваивался тот же номер, но с литерой. Попасть во двор можно через арку в парадном здании. – *Примеч. ред.*

нокая звезда. Я зову ее вечерней звездой и изо всех сил думаю о ней, когда мама заходит погасить свет и я из кровати наблюдаю, как гора одежды позади двери превращается в длинные корявые руки, которые пытаются оплести мою шею. Я пробую закричать, но получается лишь слабый шепот, и когда крик наконец пробивается, мы с кроватью утопаем в поту. В дверях появляется отец и включает свет. Тебе просто приснился кошмар, говорит он, в детстве я от них тоже сильно страдал. Но то были другие времена. Он задумчиво смотрит на меня, даже не представляя, что ребенка с такой хорошей судьбой, как у меня, могут мучить кошмары. Я застенчиво улыбаюсь и извиняюсь, будто мой крик был всего лишь глупым капризом. Одеяло натягиваю до самого подбородка, ведь мужчине не положено видеть девочку в ночной рубашке. Да-да, говорит он, выключает свет и снова уходит, каким-то образом унося с собой мои страхи, я спокойно засыпаю, и гора одежды позади двери – снова лишь кучка старого тряпья. Я погружаюсь в сон, чтобы спрятаться от ночи, которая проходит мимо моего окна и тянет за собой шлейф ужаса, зла и опасностей. На Истедгаде, такой светлой и праздничной днем, сейчас ревут машины полицейских и скорой помощи, пока я лежу здесь, надежно укрывшись под одеялом. В канаве лежит пьяница с разбитой окровавленной головой, а если зайти в кафе «Чарльз», тебя убьют. Так говорит мой брат, а всё, что он говорит, – правда.



Мне почти шесть лет, и скоро меня запишут в школу, потому я умею и читать, и писать. Мама с гордостью рассказывает об этом любому, кто захочет ее слушать. Она говорит: и среди детей бедняков встречаются светлые головы. Может быть, она всё-таки меня любит? Мои отношения с ней – тесные, мучительные и тревожные, и мне постоянно приходится выискивать хоть один знак любви. Что бы я ни делала, я делаю, чтобы угодить ей, вызвать ее улыбку, смягчить ее гнев. Эта работа очень утомляет, потому что одновременно мне приходится многое от нее скрывать. Некоторые вещи я узнаю, подслушав, кое-что читаю в отцовских книгах, о чем-то мне рассказывает брат. Недавно мама лежала в больнице, и нас обоих оставили на попечении тети Агнете и дяди Питера. Это сестра моей мамы и ее богатый муж. Мне они сказали, что у мамы всего лишь болит живот, но Эдвин над этим только посмеялся и потом объяснил мне, что ее «амбуртировали». У нее в животе был ребенок, и он там умер. Поэтому ее разрезали вниз от пупка и удалили младенца. Это казалось непостижимым и страшным. Когда мама вернулась из больницы домой, ведро под умывальником каждый день наполнялось кровью. Стоит мне только подумать об этом, как перед глазами тут же появляется картина: красивая женщина в длинном красном платье из рассказов Захариаса Ниль-

сена. Она прижимает к себе маленькую белую руку прямо под грудью и говорит роскошно одетому джентльмену: я ношу под сердцем ребенка. В книгах это что-то красивое и бескровное, оно успокаивает и утешает. Эдвин говорит, что меня будут часто колотить в школе, оттого что я такая странная. Я странная, потому что, как и отец, читаю книги и понятия не имею, как нужно играть. Но мне всё равно не страшно, когда, держась за мамину руку, я вхожу в красные ворота школы на улице Энгхавевай, так как в последнее время мама вселила в меня абсолютно новое ощущение моей уникальности. Она надела свое новое пальто с меховым воротником до самых ушей и поясом на бедрах. Ее щеки, натертые папиросной бумагой, алеют, губы тоже, а подрисованные брови напоминают двух маленьких рыбок, бьющих хвостами к вискам. Я убеждена, что ни у кого из детей нет такой красивой мамы. На мне самой перешитая одежда Эдвина, но об этом никто не догадается, потому что над ней потрудились тетя Розалия. Она – швея и любит нас как родных детей. Своих у нее нет.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.